



# ИЗ ИСТОРИИ ЭТНОГРАФИИ И АНТРОПОЛОГИИ

С. А. ТОКАРЕВ

## ВКЛАД РУССКИХ УЧЕНЫХ В МИРОВУЮ ЭТНОГРАФИЧЕСКУЮ НАУКУ

Если обмен культурным опытом и научными достижениями является одним из важнейших стимулов роста науки и общего культурного прогресса во всем мире, то, напротив, взаимная разобщенность, изолированность отдельных стран в этом отношении всегда вредила развитию науки, тормозила культурный прогресс. Когда же такая разобщенность получает односторонний характер, когда научная деятельность в определенной стране или группе стран игнорируется учеными других стран, ее достижения замалчиваются, а порой в то же время присваиваются этими учеными,— тогда к общему вреду прибавляется несправедливость.

Такие мысли приходят на ум, когда знакомишься с историей этнографической науки в славянских странах. Кто захотел бы по общим историографическим обзорам — в английской, немецкой или французской литературе — составить себе представление о том, что собственно внесли ученые славянских стран в мировую этнографическую науку, тот пришел бы к выводам весьма неутешительным: судя по этим обзорам, судя по зарубежной этнографической литературе, где чрезвычайно редко встречается упоминание русского, польского или чешского имени, славянские страны почти не участвовали в развитии этнографических знаний. Обычно о работах русских этнографов говорят только тогда, когда дело касается этнографии народов России, а работы этнографов других славянских стран вспоминаются только в связи с вопросами славяноведения. За ними признается, таким образом, чисто местное, как бы провинциальное значение. Но как только дело коснется проблем общей этнографии, основных и принципиальных научных вопросов, а равно и этнографии зарубежных и неславянских стран,— тут как из рога изобилия сыплются английские, немецкие, голландские, французские и какие угодно имена, только не славянские. Россия и другие славянские страны, выходит, стояли в стороне от столбовой дороги развития этнографической науки.

Такой взгляд, однако, совершенно неверен и несправедлив. Господство его в литературе объясняется двумя причинами: во-первых, европейские и американские ученые в подавляющем большинстве не изучают ни русского ни других славянских языков и поэтому просто плохо осведомлены о нашей этнографической литературе; во-вторых, среди них упорно держалось и частью продолжает держаться пренебрежительное отношение к русской и славянской науке. К этой второй причине отчасти

сводится и первая, ибо нежелание изучать славянские языки само по себе есть лишь проявление того же пренебрежения к славянской науке. Пренебрежение же это объясняется в значительной мере враждебным отношением к России, которое после Октябрьской революции с удвоенной силой направилось на молодую советскую республику.

В настоящей статье делается попытка показать на конкретных фактах, что этнографическая наука в России — самой крупной из славянских стран — никогда не представляла собой простого отголоска зарубежной науки, что деятельность ее отнюдь не замыкалась в рамки узко местных вопросов и задач, что, напротив, русские ученые сделали крупный вклад в разработку общих проблем этнографии, что они в немалой степени участвовали в общем развитии мировой этнографической науки, что, наконец, во многих случаях они опережали, и притом в самых принципиальных вопросах, достижения ученых всех других стран.

## 1

На фоне средневековой литературы, столь бедной конкретными этнографическими описаниями, но зато богатой баснословными рассказами, светлыми пятнами выделяются некоторые памятники ранней русской письменности: Киевская Начальная летопись начала XII в., дающая такой яркий и верный этнографический очерк населения Восточноевропейской равнины, — с точным перечислением племен, их географической локализацией, языковой классификацией и краткой характеристикой обычаев и культуры, — и еще более — знаменитое «Хождение за три моря» тверича Афанасия Никитина XV в., где (за 30 лет до «открытия Индии» Васко-да-Гамой) дан такой точный, правдивый и обстоятельный очерк быта тогдашней Индии, какой едва ли можно найти во всей европейской средневековой литературе.

Когда европейские государства вступили на путь колониальных захватов, последние породили новую литературу: повествования о походах конкистадоров и плаваниях моряков, описания вновь завоеванных заокеанских стран. Отсюда берет начало и молодая этнографическая литература — описания «нравов и обычаев» покоренных племен. Эта литература довольно обширна по размерам, но качество ее в подавляющем большинстве весьма невысокое, ибо у авторов этих этнографических описаний не было как правило ни серьезного интереса к наблюдаемым народам, ни умения понять их обычаи и культуру. Тем не менее эти описания представляют для нас ценность, поскольку знакомят нас со старой самобытной культурой колониальных народов, позже пришедшей в упадок.

Продвижение русских за Урал с конца XVI в. представляло собой тоже колониальную экспансию, но она не сопровождалась такими жестокостями против туземного населения, как это было в европейских колониях. Не ослепленные изуверским фанатизмом, как католические монахи и пуританские ханжи, русские завоеватели мягче относились к туземцам, которых они берегли хотя бы как платящих ясак, добытчиков пушнины. Быть может, отчасти этим объясняется и более серьезный тон тех ранних этнографических описаний, возмужание которых было косвенно связано с проникновением русских в Северную и Восточную Азию, если сравнить их с аналогичной западноевропейской литературой.

В самом деле, какое другое этнографическое сочинение XVII в., на любом европейском языке, можно поставить на один уровень хотя бы

с замечательным описанием Китая, которое составил Николай Спафарий, русский посол, бывший в этой стране в 1675 г.? Его «Описание первой части вселенной именуемой Азией, в ней же состоит Китайское государство с прочими его городами и провинциями» поражает обстоятельностью и полнотой приводимых автором сведений о разных сторонах быта китайцев и до сих пор остается незаменимым источником по этнографии Китая. Другое, не менее замечательное сочинение — «Краткое описание о народе остяцком» Григория Новицкого (1715) — едва ли не является самой ранней в мировой литературе чисто этнографической монографией. Автор ее освещает, хотя и сравнительно сжато, не только верования и разные обычаи остяков-хантов, но и их материальную культуру, семейный быт, организацию власти и пр., а также ставит вопрос о происхождении данного народа. К сожалению, оба названных сейчас выдающихся этнографических сочинения замалчивались зарубежной наукой.

Этого нельзя сказать о наиболее выдающемся произведении русской и мировой этнографической литературы XVIII в. — «Описании земли Камчатки» Степана Крашенинникова (1755). Этот труд талантливого русского исследователя, который и сейчас не перестает поражать глубиной и серьезностью понимания автором своей задачи, широтой его точки зрения, полнотой и реалистичностью описания, привлек к себе внимание не только русского, но и зарубежного ученого мира сразу же после выхода в свет. В ближайшие после этого годы появился ряд переводов этого классического сочинения на английский, немецкий, французский и голландский языки, — правда, переводы не слишком удачные и даже частью не вполне добросовестные. Однако и эти переводы не могли не послужить проводниками влияния труда Крашенинникова, которому европейская литература тогда ничего равного не могла противопоставить, на последующее развитие этнографической науки на Западе.

## 2

Таким образом, мы не ошибемся, если скажем, что именно у русских ученых раньше, чем на Западе, обнаружился серьезный этнографический интерес, интерес к изучению особенностей быта отдельных народов, а также вдумчивый подход к этим особенностям. Этот вывод еще более подтверждается следующим характерным фактом: именно в России мы впервые наблюдаем появление программ этнографических обследований, что свидетельствует о моменте некоторой плановости и систематичности в собирании этнографического материала.

Самая ранняя из таких программ, — вероятно, первая в истории мировой науки, — была составлена выдающимся русским ученым — историком В. Н. Татищевым в 1734 г. Это был вопросник по истории и географии Сибири, разосланный Татищевым по канцеляриям сибирских и приволжских городов и провинций, когда ему пришлось по службе столкнуться с народами, населявшими эти области. Большая часть вопросов носила чисто этнографический характер. В дополненном виде эта анкета Татищева (того же 1734 г.) состояла из 198 вопросов. Поступившие по этой анкете материалы были переданы в Академию Наук<sup>1</sup>. В самой Академии около этого же времени была составлена более краткая, но не менее интересная программа-инструкция, по кото-

<sup>1</sup> А. И. Андреев, Труды и материалы В. Н. Татищева о Сибири, «Советская этнография», 1936, № 6, стр. 93—94.

рой должны были собирать историко-этнографический материал Г. Ф. Миллер и его сотоварищи — члены большой Академической экспедиции 1733—1743 гг.<sup>2</sup> Характер вопросов этой программы дает понятие о том относительно очень высоком уровне, на каком стояло в Академии понимание задач этнографического изучения страны. Авторы инструкции предлагали участникам экспедиции «наипаче наблюдать... где будут пределы каждого народа, какие границы и не разных ли происхождений и разных родов народы между собою смешаны, или нет». Предлагалось далее собирать этногонические предания народа. «Какие суть начала каждого народа по их же повествованию, какие суть каждого народа древние жилища, преселения, дела и проч.». За этими вопросами, касающимися этногенеза, следовали вопросы о религии, обычаях, языке: «какая есть в каждом народе вера и имеют ли они какую-нибудь естественную»; «должно примечать обычаи и обряды народные, домашние и брачные и пр.»; требовалось собрать образцы языка, причем при записи местных названий рекомендовалось применять точную фонетическую транскрипцию: «Имена каждого народа, страны, реки, города и проч. точно по настоящему того народа и соседних народов произношению записывать должно, прибавляя к ним, если только доискаться можно, и происхождение имен». Замечательна и программа, которая имеется в инструкции, составленной самим Миллером для своего помощника Фишера<sup>3</sup>: она содержит в себе до тысячи вопросов, касаясь самых различных сторон быта обследуемых народов. В этой инструкции Миллер формулировал свой взгляд на цель этнографических исследований: они, по его словам, «полезны для истории, чтобы показать взаимное родство народов из общности их обычаев и языков», — взгляд, свидетельствующий о весьма глубоком для того времени понимании задач этнографической науки.

Итак, уже в эпоху больших академических экспедиций XVIII в. этнографические исследования в России проводились систематически, и притом на довольно высоком методологическом уровне. В западно-европейских странах в те годы едва ли можно отметить что-либо подобное.

Но если говорить о плановом и систематическом проведении этнографических обследований, то нужно обратиться к другой, более поздней эпохе — к середине XIX в., когда организацию этих работ взяло в свои руки только что созданное тогда Русское географическое общество (с 1845 г.). Деятельность Отделения этнографии этого общества — в особенности за первые 15 лет — составила крупный вклад в мировую этнографическую науку. Широкий размах деятельности, глубина и серьезность поставленных задач, очевидность достигнутых богатых результатов — все это позволяет считать, что в те годы русская этнографическая наука выдвинулась вновь на первое место среди других стран.

В самом деле. Хотя Русское географическое общество и его Отделение этнографии были созданы позже этнографических обществ в Германии (1828), Франции (1839) и Англии (1843), но эти общества в названных странах далеко не могли развернуть такой широкой, плановой и успешной собирательской деятельности, как Отделение этнографии РГО. Учредители последнего особенно подчеркивали важность именно этнографического изучения страны. — об этом специально сказано было в докладной записке по поводу организации Общества (1845). С первых же лет Отделение развило энергичную деятельность по соби-

<sup>2</sup> Г. Ф. Миллер, История Сибири, М.—Л., 1937, стр. 460—461.

<sup>3</sup> Напечатана в «Сборнике Музея по антропол. и этногр.», I, 1900.

ранней этнографического материала. Уже в 1847 г. была составлена и разослана в 7 тысячах экземпляров на места особая программа («пирсулер»), включавшая вопросы о физическом типе населения, языке, материальной и духовной культуре, преданиях и памятниках старины. Автором программы был Н. И. Надеждин, принимавший вообще видное участие в руководстве работой Отделения этнографии. В 1848 г. была составлена и разослана новая, расширенная программа собрания разного этнографического материала. Руководители Общества обратились с призывом ко всем русским образованным людям — собирать по данной программе и присылать этнографические описания отдельных местностей, районов, сел. Призыв не остался без ответа. Отовсюду стали поступать десятки и сотни описаний быта, обычаев, верований населения отдельных уездов, волостей, деревень. Через пять лет после рассылки программы число таких описаний, скопившихся в руках руководителей Общества, составило около двух тысяч. Разборкой и редактированием их занялись Н. И. Надеждин и К. Д. Кавелин, и скоро оказалось возможным приступить к систематическому печатанию лучших из собранных материалов. Так родилась на свет серия «Этнографических сборников» (1853—1864), смененных затем фундаментальным и многолетним изданием «Записки Русского географического общества по отделению этнографии».

Не ограничиваясь, однако, этой сравнительно пассивной формой собрания этнографического материала, Географическое общество организовывало и ряд специальных экспедиций за сбором подобного материала. Одна из самых крупных экспедиций (1850-е гг.) охватила районы Поволжья, Север, Поднепровье, Поднестровье и др. и дала богатые результаты, так же как и «Этнографическо-статистическая экспедиция в Западно-русский край» (конец 1860-х годов) под руководством П. П. Чубинского.

Самый метод планового, систематического собрания этнографического материала в широком масштабе, охватывавшем чуть не всю огромную страну, под руководством ученого общества во главе с теоретически подготовленными специалистами, с привлечением значительного круга добровольцев-участников из местной интеллигенции, — представлял собой бесспорно нечто новое в мировой этнографической науке и для того времени должен рассматриваться как крупный вклад в нее.

## 3

Главной ареной «полевой» работы русских этнографов, собрания ими конкретного фактического материала была, конечно, Россия и ее народы; для ученых западных и южных славянских стран — их собственные народы. Их заслуги в этой области никем не оспариваются. Здесь надо говорить уже не о «вкладе», а о том, что славянские, и, в первую очередь, русские ученые открыли для науки целый огромный мир — быт и культуру многих десятков народов, населяющих более чем шестую часть земного шара, которые без гигантской работы славянских ученых остались бы поныне почти неизвестными науке, — как они и остаются неизвестными для некоторых европейских и американских «этнографов», продолжающих высокомерно игнорировать русскую и славянскую этнографическую литературу или пользующихся ею из сомнительных третьих рук.

Немногим уступают этому и заслуги русских ученых по исследованию этнографии сопредельных нам стран Центральной и Восточной Азии. В изучение великой цивилизации Китая, быта его народов русские исследователи вложили не меньше сил, чем западноевропейские.

Достаточно напомнить о долголетней и продуктивной деятельности ученых монахов — членов Российской духовной миссии в Пекине. Из них на первом месте бесспорно стоит Иакинф Бичурин, один из крупнейших синологов мира. Своими неутомимыми и многолетними трудами над китайскими историко-этнографическими источниками, переводами их и своими непосредственными систематическими наблюдениями — Иакинф один создал целую библиотеку описаний стран Восточной и Центральной Азии, охватывающую в целом огромный промежуток времени от эпохи старших Ханей и вплоть до XIX в. Вспомним «Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена» (3 тома, 1851), «Историю Тибета и Хухэнора» (2 тома, 1833), «Историческое обозрение ойратов или калмыков» (1833), «Описание Чжунгарии и Восточного Туркестана» (1829), «Записки о Монголии» (1828) и ряд других, а особенно — наиболее интересное для этнографа «Китай в гражданском и нравственном состоянии» (4 тома, 1848). Иакинфовы переводы и сводки китайских источников доныне остаются незаменимым, ценнейшим пособием для всякого историка и этнографа Китая и Центральной Азии.

Немало сделал в том же направлении и другой ученый монах, член той же миссии — Палладий Кафаров. Наиболее важный из открытых и переведенных им памятников — это знаменитое «Сокровенное сказание» о Чингис-хане («Юань-чао-ми-ши»), опубликованное в 4-м томе «Трудов членов Росс. дух. миссии в Пекине» (1866), — ценный источник сведений о быте монголов XII—XIII вв.

Этнография стран Центральной Азии — Монголии и Тибета, мало доступных для западноевропейской науки, — была открыта для ученого мира главным образом трудами великих русских путешественников — Пржевальского, Потанина, Позднеева, Козлова, Грум-Гржимайло и других. Эти путешественники ставили перед собой различные цели: одни стремились к географическим открытиям, другие интересовались древними памятниками, рукописями и пр. Но все внесли большую или меньшую лепту в этнографическое изучение народов Центральной Азии. Можно смело сказать, что без героического труда наших путешественников, преодолевавших необычайные трудности в безводных песках и на суровых нагорьях Тибета и Монголии, мировая наука очень мало знала бы о народах этих стран.

Но русские ученые сделали немалый вклад и в этнографическое изучение народов заокеанских стран. Достаточно напомнить чрезвычайно интересные работы участников русских кругосветных плаваний начала XIX в., собравших ценный материал по народам Океании: плавание Крузенштерна и Лисянского на кораблях «Надежда» и «Нева» (1803—1806), описавших быт туземцев Гавайских и Маркизских о-вов и о-ва Пасхи; материалы Головнина («Дива», 1807—1809) по о-ву Танна и др.; Коцебу («Рюрик», 1815—1817, «Предприятие», 1823—1826) по о-вам Таити, Маршалловым и Гавайским; Литке («Сенявин», 1827—1828) по Каролинским о-вам и др. — составляют бесспорно заметный вклад в этнографию Океании. Она дает во многом более полную и правдивую картину быта туземного населения, ибо русские моряки и исследователи не были, в отличие от своих коллег, плававших под другими флагами, заинтересованы в возмущении разбойничьих подвигов европейско-американских колонизаторов, купцов, миссионеров и правительственных агентов, которые скупными усилиями сумели в довольно короткий срок сократить едва ли не в десять раз численность местного населения островов. В русских путешествиях по Океании мы находим наряду с описаниями туземного быта очень яркие картинки деятельности этих рыцарей колониального грабежа.

Еще более значителен вклад русских исследователей в изучение народов Северо-западной Америки, входившей до 1867 г. в состав российских владений. Наиболее энергичная исследовательская деятельность в Российской Америке падает на 1830—1840-е гг.— время расцвета деятельности Российско-Американской компании, перед тем как открытия в бассейне нижнего Амура вызвали перенесение экономических интересов туда. На эти годы приходится путешествие и работы К. Т. Хлебникова, результаты которых до сих пор выявлены и оценены лишь в небольшой степени; ценнейшие исследования И. Е. Вениаминова — одного из самых выдающихся этнографов XIX в.; экспедиции Л. Я. Загоскина, И. Г. Вознесенского и др. Если своим открытием Северо-Западная Америка обязана русским экспедициям XVIII в., то и этнографическое изучение ее народов — тлинкитов, алеутов, кадьякцев, западных эскимосов — составляет в наибольшей степени заслугу русских ученых. Это признают современные американские исследователи, использующие ныне богатое научное наследство той классической эпохи русской американистики.

Особенно выделяются в этом наследстве, конечно, работы Вениаминова. Его «Записки об островах Уналашкинского отдела» (1—3, 1840) представляют собой не только редкую по полноте и обстоятельности монографию, но и по своему теоретическому уровню ярким пятном выделяются на фоне мировой этнографической литературы того времени: трезвый реалистический подход к материалу, добросовестное стремление понять психологию и обычаи народа, язык которого он хорошо изучил и которому искренне симпатизировал, не впадая при этом в идеализацию, понимание роли естественной среды и «образа воспитания», т. е. культурной традиции, умение разграничить старые самобытные явления от нововведений, вызванных контактом с русскими, интерес к общественному быту, к материальной культуре и пр., — в каком другом этнографическом труде того же и даже более позднего времени, на любом языке, мы найдем соединение подобных качеств?

Обходя молчанием — за недостатком места — другие исследования русских и славянских ученых в заокеанских странах, мы упомянем только об одном, чьи работы составили не только крупный вклад в смысле фактического материала, но и имели большое принципиальное значение с точки зрения научного метода: о Миклухо-Маклае.

Деятельность этого замечательного ученого-гуманиста, отважного путешественника и прозорливого исследователя составляет предмет гордости и русской и мировой науки. Своими многолетними исследованиями в Океании и Индонезии Миклухо-Маклай внес совершенно новую струю в историю науки. Оставляя в стороне результаты его ценных естественнонаучных работ, напомним только, что своими антропологическими наблюдениями Миклухо-Маклай в немалой степени содействовал торжеству правильного моногенетического взгляда на происхождение человека и его рас — против антинаучных расистских теорий. Что касается собственно этнографических исследований Миклухо-Маклая, то необходимо напомнить прежде всего, что он был пионером совершенно нового метода полевой этнографической работы: отважный исследователь не побоялся поселиться один среди папуасов Новой Гвинеи, пользовавшихся репутацией жестоких людоедов, на берегу, куда не ступала прежде нога белого человека, и прожил с этими дикарями много месяцев, установив с ними дружественные отношения, изучив их язык, оказывая им разнообразные услуги и непрерывно ведя научные наблюдения. Миклухо-Маклай доказал на деле, что такой метод этнографической работы не только больше согласуется с принципами гуманизма, но и в чисто научном отношении дает гораздо

больше, чем вооруженные экспедиции или наблюдения с борта корабля при кратковременных визитах мореплавателей. Правда, у русского ученого были в этом смысле предшественники в лице миссионеров, которые тоже годами жили одни среди туземцев и изучали их языки; но миссионеры преследовали при этом совсем другие цели, и эти цели, за редкими исключениями, дурно отражались на научных результатах их наблюдений. Маклай же был первым ученым, который с чисто научными целями предпринял трудный и опасный опыт «стационарной» этнографической работы нового типа и добился блестящего успеха этого опыта. Результаты этнографических исследований Миклухо-Маклая не очень велики количественно,—погибший рано исследователь не успел опубликовать многого из своих материалов. Зато они представляют огромную ценность для науки в двух отношениях: в смысле достоверности описанных Маклаем фактов,—добросовестность русского исследователя не позволяла ему записывать и тем более публиковать ничего, в чем он не убедился путем строго научного наблюдения; и в смысле умения Маклая передать конкретную, живую картину жизни туземцев,—чем материалы Маклая выгодно отличаются от многих увесистых монографий новейших англо-американских или немецких этнографов, где живая действительность совершенно потоплена в горах сухих схем и мало вразумительных таблиц.

Работы Миклухо-Маклая, в отличие от работ многих других русских и славянских ученых, хорошо известны европейско-американским ученым,—значительную часть своих материалов Маклай печатал в иностранных журналах; поэтому они не могли не оказать влияния на мировую этнографию, и можно назвать немало попыток применения новейшими исследователями маклаевского метода. Но все же этнографы всех стран еще многому могут поучиться у великого русского ученого и путешественника.

## 4

Чтобы не возвращаться в дальнейшем к вопросам методики полевой этнографической работы и собирания материала, напомним, что метод стационарных исследований, с длительным пребыванием среди изучаемой народности, с обязательным изучением ее языка, при сочетании научной работы с практической помощью населению, был после Миклухо-Маклая детально разработан и успешно применен именно в русской этнографии. В разработке этого метода велика заслуга политических ссыльных, исследователей-революционеров, которым в силу самодержавия приходилось нередко проводить долгие годы в отдаленных районах Севера, среди нерусского населения, и они отдавали свой вынужденный досуг делу изучения этого населения и помощи ему. Так выросла целая обширная этнографическая литература по народам Сибири и Севера — работы Худякова, Ковалика, Новова, Баташевского, Левенталя, Майнова, Трошанского, Штернберга и др. В числе этих политических ссыльных-исследователей были и полки — Серошевский, Ястремский, Феликс Кон. Некоторые из этих этнографов, как Богораза, Иохельсон, в дальнейшем внесли свой опыт и знания в совместную работу с американскими учеными по изучению азиатско-американской культурно-этнических связей — в большую «Дальневосточную северо-тихоокеанскую экспедицию», материалы которой составляют крупный вклад в этнографическую литературу.

Через Богораза и Штернберга славные традиции старой революционно-демократической этнографии с ее характерным методом стационарной полевой работы перешли в советскую этнографию. Послед-

нее усвоила и углубила этот метод. Из школы Штернберга и Богораза вышли молодые советские этнографы-собираатели, посвящавшие свои силы многолетнему изучению отдельных народностей: они поселялись среди последних, усваивали их язык, работали в местных школах, красных чумах, краеведных пунктах, активно участвовали в общественно-культурной работе среди изучаемого народа и параллельно собирали ценнейший материал. Советская система проведения экономических и культурных мер для подъема отсталых народностей наших окраин давала для такой работы прекрасные возможности — культурные базы Комитета Севера, краеведные пункты, школы, политико-просветительные учреждения, медицинская сеть и пр. В дальнейшем в этнографическую работу этого типа стали втягиваться и молодые кадры из рядов самих местных народностей, — так появились первые ученые-националы, этнографы — питомцы советской школы, ведущие исследовательскую работу среди своих соплеменников. Это было не что иное, как поднятие на более высокий уровень той традиции стационарной полевой работы, которая тянется от Миклухо-Маклая через этнографов — политических ссыльных до советского поколения исследователей-этнографов и которая составляет крупный вклад в методику этнографической науки в целом. Ни одна другая страна мира не может похвалиться подобной традицией.

## 5

От полевой собирательской работы этнографов перейдем теперь к основным, принципиальным вопросам этнографической науки. Что внесли в этом отношении русские ученые в мировую науку?

Прежде всего, само понимание задач этнографии как науки, определение ее места среди других наук, ее специфики, ее метода. У кого из ранних авторов мы впервые найдем такое понимание? Роберт Лоуи в своей «Истории этнологической теории» — обзоре истории этнографических учений — считает целесообразным начать ее с изложения взглядов двух немецких историков — Мейнерса и Клемма, оговариваясь, впрочем, что выбор отправной точки всегда условен<sup>4</sup>. В данном случае ее выбор мало удачен. В самом деле, Мейнерс в своей *Grundriss der Geschichte der Menschheit* (1785) проявил, правда, интерес к некоторым народным обычаям, но, по заявлению самого Лоуи, был весьма далек от мысли о самостоятельной науке, которая бы изучала народные обычаи, да и не считал возможным и полезным делом собирать и изучать все обычаи всех народов. Мейнерсу можно поставить в заслугу интерес к истории культуры, но он был совершенно чужд даже самого отдаленного понимания задач этнографии как особой науки, — да и самого слова этого тогда не существовало. Клемм же писал гораздо позже — в 1843—1855 гг., но и он, хотя был большим любителем коллекционировать разные факты культурной истории человечества и придерживался точки зрения прогрессивного развития культуры, отнюдь не был этнографом и едва ли имел какое-либо представление о задачах этой науки. После этих «пионеров» (как видим, весьма сомнительных) Лоуи переходит к изложению взглядов Теодора Вайца, Адольфа Бастиана и английских эволюционистов.

Если бы Лоуи знал русский язык и историю русской этнографии, он мог бы найти в ней гораздо более подходящих «пионеров» этой науки — в смысле понимания ее принципиальных задач и специфики. Он нашел бы их среди основателей и первых руководителей Русского географического общества. На одном из первых заседаний Отделения

<sup>4</sup> R. Lowie, *History of ethnological theory*, 1937, стр. 10—11.

этнографии этого общества — 6 марта 1846 г. — председатель его акад К. М. Бэр выступил с докладом, озаглавленным «Об этнографических исследованиях вообще и в России в особенности». В этом докладе — уже одно заглавие которого для того времени знаменательно — акад. Бэр развил ряд интересных мыслей, свидетельствующих о серьезном понимании задач этнографической науки. Сравнительная этнография, по словам Бэра, дополняет историческую науку, в особенности там, где ощущается недостаток в прямых исторических данных. Теоретические взгляды Бэра отнюдь не во всем были передовыми, даже для его времени. В понимании этнических особенностей отдельных народов Бэр отражал ненаучные представления того времени, видя — вслед за Блюменбахом — причинную зависимость между расовыми признаками и политическим устройством общества. Однако в постановке вопроса о задачах этнографии он шел далеко впереди своих зарубежных коллег. Бэр подчеркивал важность и неотложность этнографических исследований, ибо «запасы для работ этнографических уменьшаются с каждым днем вследствие распространяющегося просвещения, которое сглаживает различия племен». «Все сведения, кои еще возможно соединить, составляют сокровище, которое с течением времени возрастает в цене. Поэтому все, что сделано будет для этнографии, сохранит по себе самое продолжительное воспоминание»<sup>5</sup>. Бэр и сам не чужд был полевой этнографической работы: в этом же докладе он ссылаясь на свои собственные наблюдения среди промыслового населения Новой Земли, куда он совершил поездку в 1837 г.

Еще более ясное понимание задач этнографии обнаружил в своем программном докладе «Об этнографическом изучении народности русской» Н. И. Надеждин, один из самых активных руководителей Общества. В этом докладе, прочитанном 29 ноября того же 1846 г. Надеждин высказывает, прежде всего, следующую важную и интересную мысль: у нас, говорит он, накоплено уже много этнографического материала, но этнографии как науки у нас еще нет. В чем же разница между этнографическим материалом и этнографией как наукой? Надеждин точно определяет эту разницу. «Собирать материал для Науки, — указывает он, — может всякой охотник, личным усердием и личными средствами. Но самая Наука является только тогда, когда, во-первых, сбор материалов производится не набежно и урывочно, как где пришлось, как попало под руку, но систематически, в порядке, связи и полноте, требуемых Наукою»<sup>6</sup>; во-вторых же, собранный материал должен быть пропущен сквозь «чистительное горнило строгой, разборчивой критики». Эта замечательная мысль, — и в наши дни не устаревшая, ибо есть люди, и сейчас не понимающие разницы между этнографическим материалом и этнографической наукой, — свидетельствует о необычайной ясности понимания Надеждиным современного ему состояния научных знаний и очередных задач научной работы. Далее Надеждин, человек широкого образования с разнообразными интересами, пытается дать философское определение задачи этнографии. Он перебирает разные возможные определения, — одни оказываются слишком узки, другие слишком широки, — и останавливается на определении этнографии, тесно связанной с географией, как науки о народах. «Ее (этнографии) задача: приурочивать «эмпирическое» к «народному» и чрез то обозначать в нем «общечеловеческое» (т. е. «Народности») — это естественные разряды в «человечестве», кои и составляют содержание этнографии. Так как вернейшее средство различать народы — это язык, то изучение народного (а не климатического)

<sup>5</sup> Записки РГО, I, СПб., 1846, стр. 94—95.

<sup>6</sup> Записки РГО, II, 1847, стр. 63—64.

<sup>7</sup> Там же, стр. 67.

языке составляет первую задачу этнографа. «Лингвистическая этнография» составляет первый раздел этой науки, за ней идет «физическая» (т. е. антропология) и «психическая», под которой Надеждин разумел этнографию в нашем смысле слова.

Очень интересны также мысли Надеждина о том, в чем заключаются задачи той критики, в которой он усматривал первый признак науки. По его мнению, задача критики состоит в том, чтобы выделить то, что свойственно данному народу самому по себе, отсеяв различные посторонние влияния и заимствованные элементы. Говоря об изучении русского народа, Надеждин ставил задачей определить, что свойственно «первобытной, основной, чистой, беспримесной русской натуре», а что представляет собой влияние чуди, немцев, византийцев, варягов<sup>8</sup>. Хотя подобная постановка вопроса не может нас вполне удовлетворить по своей некоторой упрощенности, — ибо современные исследователи не противопоставляют «первобытной, основной, чистой, беспримесной» природы данного народа всяким посторонним влияниям, — однако для того времени взгляд Надеждина представлял собой крупный шаг вперед в понимании задач этнографии: это был, хотя и в несколько упрощенном выражении, тот принцип историзма, впервые тогда сформулированный, который впоследствии сделался руководящим принципом этнографической науки.

Для достижения поставленной цели — выделения исторических напластований в данной народности — Надеждин указывал метод сравнительное изучение отдельных частей этой народности. Применительно к задачам русской этнографии это означало изучение всех географических групп русского народа — Руси во всех ее «самомельчайших разветвлениях». С этой задачей, так глубоко и теоретически обоснованной Надеждиным, и было связано предпринятое Географическим обществом в широких масштабах планомерное собирание этнографического материала по всей стране по единой программе.

Не меньше ценного внес в сокровищницу этнографических идей третий из активных деятелей Географического общества — К. Д. Кавелин. Ближайший сотоварищ Надеждина по работе в Отделении этнографии, по разборке поступавших туда описательных материалов, Кавелин не раз имел случай высказывать свои мысли о значении этих материалов для науки. Мы не будем, однако, излагать эти его мысли, в значительной мере совпадающие с уже изложенными, а познакомимся с его идеями, представлявшими дальнейшее углубление понимания задач этнографической науки. В своей известной статье «Взгляд на юридический быт древней России» (1846), а потом в рецензии на книгу Терещенко «Быт русского народа» (1848) Кавелин развил целую программу изучения народных обычаев, обрядов и верований, обстоятельно изложив свое поразительно глубокое — для того времени — понимание этих явлений.

В упомянутой статье 1846 г. Кавелин, отправляясь от проблем древней русской истории, ставит вопрос о том, где «ключ» к правильному пониманию этой истории, и отвечает указанием на «наш внутренний быт», т. е. на факты этнографии, которые гораздо лучше, чем летописи, сохраняют остатки глубокой старины<sup>9</sup>. «Ищите в основании обрядов, поверий, обычаев-былей, — писал Кавелин в другом месте, — когда-то живых фактов, ежедневных, нормальных, естественных условий быта, и вы откроете целый исторический мир, которого тщетно будем искать в летописях, даже в самых преданиях...». Народные обычаи — ключ к истории народа. Как это понимать? — «Наши просто-

<sup>8</sup> Там же, стр. 80—81.

<sup>9</sup> К. Кавелин, Собр. соч., т. I, стр. 33—35.

народные обряды, приметы и обычаи,— разъясняет Кавелин,— в том виде, как мы их теперь знаем, очевидно, сложились из разнородных элементов и в продолжение многих веков». Вследствие многовековой непрерывной «перестройки» исторического быта народа «наши обычаи и обряды представляют самый нестройный хаос, самое пестрое, повидимому, бессвязное, сочетание разнороднейших начал. Развалины эпох, отделенных веками, памятники понятий и верований самых разнородных и противоположных друг другу, в них как бы набросаны в одну грудку в величайшем беспорядке». Так как «подвести их под систему, объяснить из одного общего начала невозможно», то для объяснения всей этой хаотической массы обычаев и обрядов «остаётся одно средство: разобрать их по эпохам, к которым они относятся, по элементам, под влиянием которых они образовались». Для разъяснения этой задачи Кавелин прибегает к сравнению с методом естественных наук. «По примеру геологии, критика должна найти ключ к этим ископаемым исчезнувшему историческому миру». «Ключ» же этот заключается в следующем: «Всякий обряд, поверье, обычай непременно имеют исторически, в основании своем, действительный факт, естественный или бытовой. Сначала они не поверье, не обряд, а простое понятие или живое действие». Лишь позже, с изменением исторических условий, представление становится поверьем, действие — обрядом; им придают тогда новое толкование, не соответствующее их подлинному историческому происхождению. Народным осмыслениям обрядов, по мнению Кавелина, верить нельзя, ибо народ сам не помнит первоначального их смысла<sup>10</sup>.

В этих чрезвычайно интересных мыслях, развитых Кавелиным в 1846—1848 гг., мы узнаем не что иное, как тот «метод пережитков», который обычно приписывается Эдуарду Тэйлору и действительно был разработан английским ученым, но только двадцатью годами позже, чем его русским предшественником. Кавелин не употребляет слова «пережитки», — заслугу введения этого слова (survival) можно оставить за Тэйлором, — но все учение о пережитках мы видим у него в законченном виде. В одном только кавелинский «метод пережитков» отличается по существу от тэйлоровского: Кавелин не прибегал к приему сравнения, которым так широко пользовались и, прибавим кстати, злоупотребляли эволюционисты школы Тэйлора. С другой стороны, Кавелин критически относился и к той гипотезе «заимствования», которой и в его время, как и позже, многие злоупотребляли: нельзя, говорит он, рассматривать наши обычаи, поверья, как от кого-то заимствованные, только на том основании, что они сходны с чужими<sup>11</sup>.

Итак, если считать началом развития этнографии как науки момент ясного понимания и формулировки задач и принципов этой науки, то «пионерами» мировой этнографии необходимо признать не Мейерса, Клемма и Вайца, а Бэра, Надеждина и Кавелина.

## 6

Переходя от общего понимания задач этнографии как науки к основным проблемам этой науки, мы, прежде всего, должны коснуться учения о стадийности развития человечества на разных ступенях его истории, с чем связано и решение проблемы периодизации истории. Единственно научным методом систематизации этнографического материала, — если оставить в стороне чисто эмпирическую и формальную группировку народов по языкам или по хозяйственно-культурным типам и ареалам, — является уста-

<sup>10</sup> К. Кавелин, Собр. соч. т. IV, стр. 33—35.

<sup>11</sup> Там же, стр. 39—45.

новление исторической последовательности стадий развития, исходя из идеи единства и закономерности исторического процесса. Рассмотрение отдельных народов, живых и древних, по стадиям единого исторического процесса — с учетом, разумеется, всех конкретно-исторических условий и особенностей в каждом отдельном случае — дает возможность превратить этнографическую науку в могучее оружие исторического познания. Именно в этом видели основоположники марксизма крупную заслугу Льюиса Моргана. Эта заслуга, по словам Энгельса, состоит в том, что Морган — при помощи правильного анализа этнографического материала — «открыл и восстановил в главных чертах... доисторическую основу нашей писаной истории и в родовых объединениях североамериканских индейцев нашел ключ, раскрывающий нам важнейшие, до сих пор не разрешимые загадки древней — греческой, римской и германской — истории». Эта «великая заслуга Моргана» (Энгельс) ни у кого из нас не вызывает сейчас сомнения. Однако мало кто знает, что и Морган имел в этом деле своего предшественника и что этим предшественником был великий русский ученый и демократ — Н. Г. Чернышевский.

Чернышевский не был специалистом-этнографом, но он обладал поразительно ясным пониманием задач и принципов этнографии. Главное значение этой науки, которую он очень ценил, Чернышевский видел в том, что этнография позволяет реконструировать древнейшую историю человечества. Чрезвычайно интересны мысли, излагавшиеся по этому поводу Чернышевским в одной из его статей в «Современнике» — в рецензии на «Магазин земледения и путешествий» Фролова — в 1855 г., т. е. за 22 года до выхода в свет основного труда Моргана. В этой статье Чернышевский указывает, прежде всего, на большую важность общественно-исторических наук сравнительно с естественными. «Как ни возвышенно зрелище небесных тел, — говорит он, — как ни восхитительны величественные или очаровательные картины природы, человек важнее, интереснее всего для человека. Поэтому, как ни высок интерес, возбуждаемый астрономиею, как ни привлекательны естественные науки, важнейшею, коренною наукою остается и останется навсегда наука о человеке»<sup>12</sup>. Среди же наук о человеке важнее всего те, которые позволяют понять окружающую нас действительность, нашу цивилизацию. Но понять ее можно только, если знать «первоначальную сущность» составляющих ее «учреждений». Древнейший период развития этих «учреждений» изучается двумя науками — исторической филологией и этнографией. Из этих двух наук Чернышевский отдает первенство этнографии.

«Все, что с невероятными усилиями соображения успевает добыть историческая филология для объяснения первобытной жизни, сообщает нам этнография в живых, простых, ясных рассказах; потому что... наши древнейшие предки начали с состояния, совершенно подобного нынешнему состоянию австралийских и других дикарей, стоящих на низшей степени развития, потом постепенно проходили те состояния несколько более развитой нравственной и общественной жизни, какую видим у различных негритянских племен, у северо-американских краснокожих, у бедуинов и других азиатских племен и народов; каждое племя, стоящее на одной из степеней развития между самым грубым дикарством и цивилизацией, служит представителем одного из тех фазисов исторической жизни, которые были проходимы европейскими народами в древнейшие времена. Поэтому этнография дает нам все те исторические сведения, в которых мы нуждаемся»<sup>13</sup>. «Итак,

<sup>12</sup> Н. Г. Чернышевский, Собр. соч., т. I, стр. 225, 1906.

<sup>13</sup> Там же.

посредством исторических разысканий о первобытных временах жизни наших предков,— говорит далее Чернышевский,— мы открываем те же самые факты, какие видим в жизни различных диких и полудиких племен; этнография говорит совершенно то же, что историческая филология». Однако преимущество этнографии состоит в том, что она видит своими глазами то, что филология только предполагает. «И верность и полнота на стороне этнографии. Поэтому-то она должна быть главнейшею предводительницею при восстановлении древнейших периодов развития народов»<sup>14</sup>.

Оставляя в стороне другие чрезвычайно интересные мысли Чернышевского по вопросам этнографии — его антирасистские высказывания, его гениальные идеи о зависимости «обычаев, понятий и учреждений» всякого общества от исторических условий, «степени развития и внешних условий жизни», мы можем ограничиться одними вышеприведенными мыслями замечательного русского ученого, чтобы убедиться в том, что Чернышевский действительно предвосхищал учение Моргана в важнейшей его части. Что современные отсталые народы показывают нам картину нашего собственного исторического прошлого, и притом каждый народ представляет какую-то определенную стадию этого прошлого,— эта мысль составляет ведь краеугольный камень учения Моргана и вместе с другими наиболее ценными сторонами его учения она стала неотъемлемой частью нашей марксистской, да и вообще всей прогрессивной этнографии. Сказанное не умаляет, конечно, заслуг самого Моргана, который не только высказал, но и обосновал на конкретных фактах это учение о стадийной закономерности развития человечества и указал, на основании конкретных же фактов, место отдельных народов в этом развитии. Но высказывания Чернышевского характеризуют в известной мере высоту теоретического уровня, достигнутого в то время русской наукой, что и существенно для нас в данном случае отметить.

## 7

Для понимания задач этнографии как науки очень важен правильный взгляд на взаимоотношения ее со смежными науками и — еще более — умение правильно сочетать данные этих наук. В принципе все признают необходимость тесной увязки этнографического материала с данными археологии, антропологии, лингвистики, письменной истории. Но одно дело признавать, другое — уметь практически применять, разрабатывать, комбинировать материал этих смежных, но самостоятельных наук. Для этого надо его, прежде всего, хорошо знать, а это требует незаурядной эрудиции одновременно в нескольких науках. Помимо этого, самый метод сочетания данных, заимствованных из разных наук, требует особой разработки.

Вот почему так велика научная заслуга одного из выдающихся русских ученых и созданной им школы — Д. Н. Анучина. Среди зарубежных исследователей трудно найти человека, который с такой необычайной широтой эрудиции, с такой разносторонностью интересов и с таким мастерством, как Анучин, умел бы ставить и решать научные проблемы, требующие привлечения этнографических, археологических, документальных и других источников. Поэтому каждая из более или менее значительных работ Анучина оставляет негаснущий след в историографии соответствующего вопроса. Примером может послужить даже такая ранняя его работа, как «Племена Азии» (1879), где во всю широту едва ли не впервые была поставлена проблема

<sup>14</sup> Там же, стр. 225—226.

приведения этого маленького загадочного народа, а еще более позднейшие исследования Анучина: «Лук и стрелы» (1887) — мастерской «археолого-этнографический очерк», послуживший образцом для работ зарубежных этнографов, Бальфура и Ратцеля, которые, однако, далеко уступают ему в широте и серьезности трактовки; «Сани, лабья и коня, как принадлежности похоронного обряда» (1890); «Древнерусское сказание «О человецах незнаемых в восточной стране» (1890) — искусная этнографическая интерпретация легендарного средневекового памятника, и ряд других. Большое принципиальное значение имеет программная статья Анучина «О задачах русской этнографии»<sup>15</sup>, где ставится как основная ближайшая задача — составление капитальных монографий по отдельным народам, с исчерпывающим привлечением всех источников и материалов, включая непосредственные полевые наблюдения. В этой статье Анучин подчеркивает большое общенаучное значение этнографии, а также и ее крупное общественное и просветительное значение.

Анучину и русская и мировая наука обязана серьезным обоснованием необходимости тесной координации трех наук — этнографии, археологии и антропологии. Эта «Анучинская триада» получила свое воплощение и в системе университетского преподавания (Московский ун-т) и в созданном самим Анучиным замечательном музее, послужившем моделью для некоторых западноевропейских музеев, — например, известный немецкий антрополог Рудольф Мартин называл анучинский музей недостижимым для него идеалом.

Сформулированные Анучиным принципы вдохновляли русских исследователей на протяжении многих лет. В духе этих принципов писались ценные монографии — от «Русских лопарей» Николая Харузина (1890) до новейших работ Б. А. Куфтина, посвященных проблемам восточноевропейской этнографии. В зарубежной литературе идеи Анучина нашли себе довольно слабый отголосок: там в эти годы шла борьба между поверхностным эволюционизмом и модными, довольно разношерстными направлениями — от «культурно-исторического» до чисто биологического.

## 8

Одной из кардинальных проблем этнографии является, как известно, проблема родового строя и связанная с ней проблема ранних форм развития семьи. В разработку этой области этнографических вопросов русская наука внесла тоже немалый вклад.

До 60-х гг. XIX в. европейской науке была известна только одна форма родовой организации — патриархальный род. Но исследователи — до Мэна, попытавшегося обосновать теоретически учение о патриархально-родовом строе, — ограничивались обычно лишь описанием родовой организации у отдельных народов — у древних греков, римлян, кельтов и т. д. В этом смысле существенным вкладом было разработанное в русской науке учение о родовом строе у древних славян. Оставляя в стороне ранних авторов, напомним только о ценных, имевших принципиальное значение трудах К. Д. Кавелина, впервые разработавшего данную проблему с общеисторической точки зрения. Опираясь отчасти на одновременно выходившие в свет конкретно-исторические исследования С. М. Соловьева, стоявшего на тех же позициях, Кавелин дал в целой серии своих талантливых статей и рецензий (1846—1851) такое глубокое и серьезное освещение фактов патриархально-родового строя древних славян, по преимуществу во-

<sup>15</sup> Этнографическое обозрение, т. I, 1889.

сточных, которое в то время было новым словом в науке. Напомним, что Кавелин видел в родовой организации русских славян основу всего их общественного строя, равно как и частной жизни. Впрочем, из нее же он выводил и развитие государственности и политической судьбы Руси до московского периода включительно,— взгляд, конечно, совершенно устаревший и для современной науки неприемлемый.

«Когда, наконец, обратится в обиходную истину,— писал Кавелин в 1846 г.— что весь древний быт России, не только частный, но и государственный (если только его можно так назвать), вращался около одного родственного, кровного начала, которым первоначально живут все не-завоевательные народы,— мы пойдем многое в русской истории, чего до сих пор не понимаем»<sup>16</sup>.

Очень хорошо умел показать Кавелин роль родового (или «семейственного») начала как тормоза для развития личности. Родовой строй подавляет личность, не дает ей противопоставить себя окружающему миру. При нем «человек как-то расплывается; его силы, ничем не сосредоточенные, лишены упругости, энергии и распускаются в море близких, мирных отношений. Здесь человек убаюкивается, предается покою и нравственно дремлет»<sup>17</sup>. Но Кавелин умел понять и историческую ограниченность родового строя. «Этот древнейший, чисто патриархальный быт не мог быть вечным». Кавелин, умевший диалектически мыслить, видел наличие в нем внутренних противоречий, которые должны были привести его к разложению. «В чисто семейном быту наших предков лежали зачатки его будущего разрушения. Он был создан природой, а не мыслью, не сознанием, которые могли бы дать ему твердость, постоянство, а вместе и определенность, ему совершенно неизвестную. Но кровные связи слишком непрочны, чтобы поддержать общественный быт...» «Дальнейшее развитие общинного быта состояло в большем и большем его распадении»<sup>18</sup>.

Кавелину, правда, чужда была идея универсальности родового строя на определенной ступени общественного развития. Он видел в нем особенность быта «миролюбивых», «не-завоевательных» народов, какими считал славян, противопоставляя их например германцам, у которых, напротив, воительский быт, связанный с дружинной организацией, приводил к совсем иному течению истории, к раннему развитию личного начала<sup>19</sup>. В этом он, конечно, глубоко заблуждался. Но как бы то ни было, для разработки учения о родовом строе мысли Кавелина в то время, да и после, имели большое принципиальное значение. Еще ничего не зная о классической форме рода — материнском роде, Кавелин во многом все же предвосхищал учение Моргана.

Что касается открытия «материнского права» и разработки учения о матриархате, знаменовавшего собой новый этап в мировой науке, то лишь недавно было убедительно показано, что и в этом вопросе русская наука не стояла в стороне. В своей статье «Бахофен и русская наука»<sup>20</sup> М. О. Косвен сумел в значительной мере по-новому осветить историю того важнейшего научного открытия, которое связано с именем Бахофена. Оказалось, прежде всего, что у гениального швейцарского ученого были предшественники в России. Тот же Кавелин в одной из упомянутых выше статей (1848) высказывал догадку, что женщина не всегда в истории занимала подчиненное положение, что, напротив, были эпохи, когда ее общественная роль была гораздо более крупной. Кавелин, однако, не мог ни развить, ни четко сформу-

<sup>16</sup> К. Кавелин, Собр. соч., т. I, стр. 271.

<sup>17</sup> Там же, стр. 17—18.

<sup>18</sup> Там же, стр. 20—22.

<sup>19</sup> Там же, стр. 17—18.

<sup>20</sup> «Советская этнография», № 3, 1946.

лизовать этих мыслей. У другого историка, писавшего около пяти веков времени, В. Я. Шульгина, в его работе, посвященной «состоянию женщин в России до Петра Великого» (1850), мы видим вполне определенное представление о свободном и равноправном положении женщины в древнем общественном строе: у языческих славян и русских, по его словам, «все сферы жизни открыты женщине, она пользуется свободой в первобытном, еще не установившемся обществе». К таким же выводам приходил и историк А. В. Добряков в своей работе «Русская женщина в домонгольский период»: работа эта вышла в свет, правда, после книги Бахофена (1864), однако автор пришел к своим выводам независимо от него, и выводы эти, основанные на большом конкретном материале, существенно дополняют идеи швейцарского ученого.

Не менее интересен другой отмечаемый М. О. Косвенем факт: в то время, как в европейской науке Бахофен долго оставался одиночкой, его не признавали, игнорировали, просто не знали, среди русских передовых ученых взгляды Бахофена были очень скоро и серьезно оценены. У Бахофена нашлись последователи в России раньше, чем на Западе, и этими последователями оказались крупные и прогрессивные ученые: С. С. Шашков, П. Л. Лавров, Ф. И. Буслаев, В. И. Ф. Миллер, А. Г. Смирнов, Н. И. Зибер и ряд других. Для передовой части русского ученого мира новая историческая концепция оказалась более созвучной, чем для чопорной косно-академической, буржуазной науки Запада.

Самому Моргану в русской науке был оказан тоже более почетный прием, чем в западноевропейской литературе, где замечательные открытия американского ученого были окружены, по выражению Энгельса, «заговором молчания». Н. И. Зибер, М. М. Ковалевский, Н. Н. Харузин и целый ряд других этнографов и историков восприняли идеи Моргану и развивали и подкрепляли их на новом конкретном материале. Быть может, наиболее выдающаяся роль в этом отношении принадлежала Л. Я. Штернбергу, открытия которого среди гилеяков, вновь подтвердившие учение Моргану о стадиях развития семьи, о групповом браке, привлекли внимание самого Энгельса. Последний в специальной статье «Вновь открытый случай группового брака» (1892) указал на крупное принципиальное значение исследований русского ученого. В дальнейшей своей научной работе Л. Я. Штернберг, не ограничившись собиранием чисто фактического материала, много сделал и для более глубокой теоретической разработки проблемы развития форм семьи: ему принадлежит интересный анализ явления экзогамии, теория ее происхождения в связи с определенными формами группового брака, широкое сравнительное изучение классифицирующих систем родства и т. д.

Наконец, в советский период учеными нашей страны сделан ряд новых исследований, проливших гораздо более яркий свет на вопросы истории рода и семьи. Работы М. О. Косвена, С. П. Толстова, А. М. Золотарева, Е. Ю. Кричевского, Е. Г. Кагарова, Д. А. Ольдерогге и ряда других советских этнографов сильно продвинули вперед учение о первобытно-общинном строе. Исходя из работ Моргану, руководясь принципами марксизма-ленинизма, советские ученые на новом конкретном материале разрабатывают проблемы истории первобытного общества. По-новому освещены, а частью заново обоснованы вопросы о дородовой организации («первобытное стадо»), дуально-экзогамной организации, «трехродовом союзе», матриархате, переходе от матриархата к патриархату и т. п.

Меньше всего привлекала внимание европейских исследователей та группа проблем первобытного общества, которая связана с его экономической жизнью. Первобытное хозяйство, производственные отношения на ранних стадиях их развития долго оставались *terra incognita* для науки. До конца XIX в., а частью и позже, имела хождение та тощая и абстрактная схема хозяйственного развития, которая известна под именем «теории трех ступеней» («Dreistufentheorie») и которая была сформулирована еще в 1840-х годах экономистом Фр. Листом: охота — скотоводство — земледелие как универсальные стадии развития хозяйства. Понимание же специфики производственных отношений доклассовой эпохи очень долго не поднималось над уровнем детски наивной робинзоны, которую приходилось высмеивать еще Энгельсу в лице ее проповедника Дюринга. Робинзон со шпагой в руке и порабощенный им Пятница — как модель первой формы экономических отношений: такова была премудрость буржуазной экономической науки, господствовавшая вплоть до конца XIX в. Этнографы, располагавшие богатым материалом для построения, вместо этой детской, картинкой, более научного представления о первобытной экономике, ничего для этого не сделали. Даже классики этнографии, не исключая и самого Моргана, мало интересовались этими проблемами. Этим отчасти объясняется такое явление, как успех известной книги Бюхера «Возникновение народного хозяйства», выдержавшей с 1893 по 1922 г. 16 изданий: автор этой книги предлагал буржуазному читателю приятную для него и чрезвычайно простую схему хозяйственного развития человечества, схему, в которой для всей огромной первобытной эпохи и для современных культурно отсталых народов не нашлось лучшего места, как — стадия «индивидуальных поисков пищи». К этому свелась и вся роль этнографического материала в этой самой популярной из буржуазных концепций истории хозяйства.

В этих условиях нельзя не признать крупным вкладом в науку капитальную работу «Очерки первобытной экономической культуры» Николая Ивановича Зибера, первого русского этнографа, применившего марксистский метод в своих исследованиях. Зибер собрал и критически обработал в этой книге очень большой фактический материал, относящийся к различным отсталым народам земного шара. Он поставил себе, правда, ограниченную цель — дать описание «одних только общинных форм жизни». Но в пределах этой, впрочем, достаточно широкой задачи автору удалось показать господство принципов коллективизма в самых различных сферах общественной жизни, в разнообразных видах производства, в распределении и потреблении, в формах собственности, в обмене и разных народных обычаях. Зибер сам указывает в предисловии к своей книге, что, хотя господство «общинных форм хозяйства» на ранних стадиях развития признается очень многими, однако для подтверждения этого «предположения» сделано весьма мало, ибо этнографический материал для этой цели почти не привлекался. Это так и было. Зато Зибер в значительной мере заполнил этот пробел. Он проработал с точки зрения своей последовательно проведенной концепции обширную литературу этнографических описаний, монографий, путешествий по всем частям света. В итоге своего фундаментального исследования он приходит к выводу «о полном и всестороннем единстве и сплочении составных элементов отдельного первобытного общества, каковы бы ни были те отношения, в которых оно находится к другим обществам». «Причина этого явления, — совершенно правильно замечает Зибер, — заключается главным образом в простоте экономической организации первобытного общества, которое допускает не-

посредственное заведывание процессом общественного производства со стороны общественной власти»<sup>23</sup>. Даже и последующее экономическое развитие человечества является, вопреки буржуазным представлениям, «наглядным доказательством той истины, что, как бы ни усложнялись и ни расчленились формы сложения труда в обществе, взаимное тяготение отдельных групп человечества преодолевает это разделение, и каждый дальнейший шаг истории ведет в сущности к теснейшему сплочению и объединению отдельных элементов общественно-производственного процесса...»<sup>24</sup>.

Если бы идеи Зибера были лучше известны западноевропейской науке, может быть, в ней не имели бы такого успеха пошлые схемы типа «индивидуальных поисков пищи» Карла Бюхера. Может быть, добросовестному венгерскому ученому Феликсу Шомло не пришлось бы в 1909 г. доказывать как нечто новое, что в первобытном обществе тоже существовал обмен. Может быть, изучение первобытной экономики вообще сдвинулось бы с той мертвой точки, на какой оно в сущности до сих пор в зарубежной науке находится.

## 11

Нам осталось коснуться еще одного круга этнографических проблем, где русская наука тоже сделала немалый вклад, до сих пор недостаточно учтенный даже в нашей литературе: дело идет о проблемах первобытной религии. В соответствующей историографии крайне редко можно встретить русское имя; в действительности же участие русских ученых в разработке вопросов первобытной религии было далеко не таким незначительным.

Интерес к вопросу о происхождении религии проявляли еще ранние русские «мифографы». Наиболее оригинальные мысли по этому поводу мы находим у одного из них — Кайсарова, автора «Славянской и Российской мифологии» (1804). Кайсаров, широко образованный человек, стоял на позициях натурализма, следуя, видимо, наиболее передовым в то время взглядам французских просветителей. По мнению Кайсарова, древний человек обоготворял предметы природы: солнце, ручей, ветер; «он не примечал, чтобы существо, подобное ему, всем этим управляло. Тут стал он в первый раз умствовать о чудном мироздании. Солнце, вода, ветер казались ему существами особенной и притом высшей, нежели он сам, природы. Изумление его перешло в почтение и боготворение»<sup>25</sup>. Эти мысли Кайсарова, чрезвычайно интересные для того времени, примыкают к взглядам наиболее глубокого из французских просветителей — Гольбаха.

В годы господства мифологической школы в изучении религии идеи ее распространились, конечно, и в России. Однако не все занимавшиеся этими вопросами ученые поддались гипнозу мифологической теории, так надолго задержавшей движение науки о религии. Кавелин, например, со свойственной ему самостоятельностью умел и в этом вопросе занять серьезную и сдержанную позицию. Он скептически смотрел на попытки наполнить древнеславянский пантеон разнородными небывальными божествами — Лелями, Ладами и Колетами. Языческая религия славян представляла собой, по мнению Кавелина, обоготворение природы. Ее невидимым силам, которым человек поклонялся, он придал со временем человеческую форму. «Бог эмал» и проследование антропоморфизма в языческих религиях — «Дальнейшее разви-

<sup>23</sup> Н. И. Зибер, Очерки первобытной материальной культуры, Харьков, 1929, стр. 410.

<sup>24</sup> Там же, стр. 411.

<sup>25</sup> Г. Кайсаров, Славянская и российская мифология, изд. 2-е, 1810, стр. 15.

тие первоначального антропоморфизма состоит в том,— пишет Кавелин,— что божества совершенно перестают быть олицетворением сил и явлений природы и становятся воплощением нравственных, философских и политических идей: вместо природы боги выражают внутренний мир человека»<sup>26</sup>.

Но даже у ученых, находившихся под обаянием мифологической теории, мы отнюдь не находим простого ученического повторения доктрины Гримма или Макса Мюллера. Каждый из них вносил что-то свое и порой ценное в изучение первобытной религии. Так, у Ореста Миллера можно отметить чрезвычайно интересные мысли о магических обрядах и заклинаниях, предшествовавших молитвам и жертвоприношениям. Древнейший период, по мнению О. Миллера, это «такой, когда еще и жертв не приносили, но совершали обряды, которые, с первого взгляда, могут в настоящее время показаться молитвами, но были первоначально только подражанием тому, что замечали в природе, подражанием, имевшим в виду вынудить у нее повторение тех же явлений»<sup>27</sup>. Если позднейшая молитва рассчитана на милосердие божества, то предшествовавший ей заговор (заклинание) «должен был иметь на него влияние просто-напросто принудительное». Нетрудно узнать в этих мыслях, высказанных еще в 1865 г., предвосхищение известных положений Маретта, с которыми тот выступил добрыми сорока годами позже, резюмировав их в тезисе «от заклинания — к молитве». Нечего и говорить, что у Ф. И. Буслаева и А. А. Потебни двух самых серьезных сторонников мифологической школы в России можно найти нечто гораздо большее, чем простое повторение тезисов этой школы. Серьезные, хорошо обоснованные обобщения богатого фактического материала, осторожные выводы, далеко не всегда в духе традиционных мифологических построений, хотя нередко на них сбивающиеся,— в работах Буслаева и Потебни представляют собой, конечно, ценный вклад в изучение ранних форм религии.

Даже А. Н. Афанасьеву, наиболее крайнему и одностороннему последователю мифологического направления, не избежавшему всех его увлечений, надо поставить в заслугу не только собранный им огромный фактический материал по верованиям славянских и других народов,— с чем согласны все,— но и некоторые его теоретические высказывания. Убеденный сторонник мифологической системы, Афанасьев, быть может, глубже смотрел на проблему, чем его западноевропейские единомышленники. Он понимал, например, что в основе того олицетворения небесных явлений, к которому мифологи любили сводить всякую религию, лежали все же явления земной материальной действительности. Основу эту Афанасьев видел в пастушеском быте древних «ариев». «Олицетворяя грозные тучи быками, коровами, овцами и козами, первобытное племя ариев усматривало на небе, в царстве бессмертных богов, черты своего собственного пастушеского быта: ясное солнце и могучий громовник, как боги, приводящие весну с ее дождевыми облаками, представлялись пастырями мифических стад»<sup>28</sup>.

Когда зазвучал голос критики против односторонних увлечений мифологической школы, в числе первых критиков ее выступили крупные русские ученые. Рецензия А. Н. Веселовского («Сравнительная мифология и ее метод», 1873) на книгу Анджело де-Губертатиса нанесла один из первых разрушительных ударов этой школе,— что, впро-

<sup>26</sup> К. Кавелин, Собр. соч., т. IV, стр. 63—65.

<sup>27</sup> О. Миллер, Опыт исторического обозрения русской словесности, ч. I, вып. I, СПб, 1865, стр. 84, прим. 2.

<sup>28</sup> А. Н. Афанасьев, Поэтические воззрения славян на природу, т. I, 1865, стр. 690.

чем, не мешало взглядам самого Веселовского быть во многом глубоко ошибочными. За Веселовским последовали другие. Удар по мифологической теории представляла собой и «Весенняя обрядовая песня на западе и у славян» (1903) Е. В. Аничкова, — автора, чьи взгляды, правда, в свою очередь нуждаются в серьезной критике.

Но гораздо более важным, чем критика, был положительный вклад русских ученых в решение проблемы первобытной религии. Место не позволяет здесь излагать все более или менее оригинальные мысли, встречающиеся в русской этнографической литературе по этой проблеме. Некоторые из них незаслуженно забыты и неизвестны не только за рубежом, но и у нас.

Стоит напомнить хотя бы чрезвычайно интересные высказывания Михаила Кулишера, одного из первых русских этнографов-эволюционистов, не чуждого, видимо, влияния и марксизма. Кулишер выводил первобытную религию из борьбы человека с природой и его бессилия перед ней. Борьба с природой была для примитивного человека очень трудна. И вот то, чего люди не могли при помощи своей слабой техники добиться от природы, — они стали считать недозволенным, греховным. Деятельное отношение к природе стало считаться грехом, бездействие же — добродетелью. Причина того, что первобытная религия освящала бездельность, заключается в «неумении пользоваться предметами и явлениями природы, бороться с ними, эксплуатировать их для человеческих потребностей». Кулишер проводит очень меткое сравнение: «Точно так же, как в настоящее время проповедуется мысль, что установившиеся в настоящее время отношения между людьми в европейских обществах должны остаться нетронутыми, не могут и не должны быть изменяемы государственными мерами, — точно так же весьма долго поддерживалась в сознании людей мысль, что силы природы не могут и не должны подлежать изменению и воздействию со стороны человека». «Мы утверждаем следовательно, — говорит Кулишер, — что религиозное почитание предметов и сил природы обязано своим происхождением неспособности первобытного человека побороть природу, подчинить ее своим целям и потребностям»<sup>29</sup>. Поэтому переход от одного образа жизни к другому влечет за собой и новый мир богов, который вытесняет старый или наслаивается на него. «Только с этой точки зрения может быть удовлетворительно разъяснен и принят ход развития религиозного мирозерцания и отношения человека к природе»<sup>30</sup>. Значит, «имея классификацию различных образцов жизни, мы имеем и классификацию форм религиозного мирозерцания», — резюмирует Кулишер свои взгляды, как видим, весьма близкие к научному материалистическому пониманию происхождения религии. «Периодам охотничьей, пастушеской, земледельческой жизни, а также кочевничью рыбной ловлей и т. д. соответствует свой особый религиозный мир, общий всем народам, ведущим тот же образ жизни», — так резюмирует он свою мысль, несколько, правда, упрощая вопрос.

Гораздо лучше известны — и у нас и в зарубежье — взгляды В. Г. Богораза на первобытную религию. Богораз принадлежал обычно в числе сторонников «преанимистической» точки зрения на происхождение религии, и он в самом деле может быть включен в число «преанимистов». Но его попытку проследить стадии исторического развития первобытных религиозных представлений, от заклинаний и оживления всей природы до оформленного образа жизни и отдельных духов, нельзя не признать более глубокой и содержательной, чем понимание развития религиозных верований, чем сущностные при-

<sup>29</sup> М. Кулишер. Очерки сциентифической этнографии в Европе, т. II, стр. 16—21.

<sup>30</sup> Там же, стр. 21—22.

суждения какого-нибудь Карутца об «эманизме» или Сэнтива о «динамизме», как особенности первобытной религии.

Достаточно хорошо известны — по крайней мере у нас — взгляды Л. Я. Штернберга. Этот крупный ученый, совмещавший в своем лице характерное полевого исследователя и широко эрудированного теоретика, притягивал себя к сторонникам анимистической теории происхождения религии. Но «анимизм» Штернберга — гораздо глубже, серьезнее, ближе к реальным фактам, чем абстрактно-идеалистические построения Тэйлора и его единомышленников. Не в том даже дело, что Штернберг видел в идее души не первичное представление, как считал Тэйлор, а продукт долгого развития, появляющийся лишь на третьем этапе этого развития<sup>31</sup>. И не в том дело, что Штернберг пользовался, вместе с Мареттом, термином «аниматизм» для обозначения первичной стадии одушевления природы. А дело в том, что в самом понимании религии Штернберг, вооруженный прекрасным знанием конкретного материала, умел подняться намного выше Тэйлора с его «дикарской философией». Понимание религии у Штернберга стихийно приближается к материалистическому учению о религии как продукте бессилия человека. «Религия», — писал он, — есть одна из форм борьбы за существование в той области, где личные усилия человека, все усилия его интеллекта, все его гениальные способности и изобретательность являются бессильными<sup>32</sup>.

Правда, к материалистическому пониманию религии Штернберг лишь приближался, в целом же его взгляды оставались идеалистическими. Но все же взгляды эти гораздо ближе подводили исследователя к познанию специфики первобытной религии и ее корней, чем разнообразные теории кабинетных ученых типа Фрэзера или Леви-Брюля.

Но исследование первобытной религии продвигалось вперед у нас, как и на Западе, не столько через широко обобщающие теории, сколько через специальное изучение отдельных более частных проблем. Из них отметим здесь пока только одну: проблему магии.

Изучение магических заклинаний-заговоров вообще гораздо серьезнее было поставлено в России, чем на Западе. Количество собранного фактического материала — записей заговоров — у нас значительно превосходит имеющиеся запасы его в западноевропейской литературе: достаточно напомнить обильные материалы, хранящиеся в архиве Русского географического общества, и публикации И. П. Сахарова (впрочем малоценные), Л. Н. Майкова, П. С. Ефименко, Тихонравова, Драгоманова, Чубинского, Романова, Добровольского и ряд других. Теоретическая разработка заговорных текстов стояла у нас тоже на большей высоте, чем в западноевропейской литературе, где до последнего времени продолжала господствовать устаревшая мифологическая концепция. Русские исследователи, даже те, которые находились под влиянием той же мифологической точки зрения, — как Афанасьев, Буслаев, Орест Миллер, Потебня, Крушевский — а еще более исследователи нового поколения, освободившиеся от этой традиции, как Ф. Зелинский, Ветухов, Н. Ф. Сумцов, Н. Познанский, Е. Н. Елеонская и др., — умели в большинстве случаев дать более глубокий анализ психологического содержания заговоров, равно как и их словесной формы, на что весьма мало обращали внимание их зарубежные коллеги. Напомним хотя бы ценную монографию Н. Познанского «Заговоры» (П., 1917), где мы находим наиболее серьезную попытку классифицировать заговоры по видам и проследить их развитие. Из обобщающих работ по проблеме магии напомним ряд этюдов Е. Г. Ка-

<sup>31</sup> Л. Я. Штернберг, Первобытная религия в свете этнографии, Л., 1935, стр. 276—277.

<sup>32</sup> Там же, стр. 248.

гарова о магических обрядах<sup>33</sup>, где автор дает наиболее полную из всех существующих в литературе систематику магических действий.

Из специальных проблем изучения превобытной религии укажем еще на проблему шаманизма. Этой, быть может, наиболее трудной для понимания области истории религии посвящали свое внимание очень многие исследователи,— в огромном большинстве русские, ибо западноевропейская и американская литература о шаманизме представляет собой почти целиком отголоски исследований и взглядов тех или иных русских ученых. Начиная с капитальной сводки «Шаманство» (1892) В. К. Михайловского, исследователя, стоявшего на позициях анимистической школы,— если оставить в стороне более ранние работы,— мы можем назвать целый ряд серьезных исследований как шаманизма в целом, так и отдельных его сторон и элементов, составивших в общей сложности целую литературу: сюда относятся работы Богораза, Харузина, Виташевского, Ионова, Трошанского, Мицкевича, Иохельсона, Широкогорова, Петри, Штернберга, Анохина, Ксенофонта; из новых советских исследователей — Прокофьева, Дыренко, Потапова, Попова, Анисимова, Чернецова и других авторов. Они, конечно, еще не разрешают до конца сложнейшей проблемы шаманизма, тем более, что большинство названных дореволюционных авторов было далеко от применения марксистского метода, но их ценными работами созданы все условия для успешного решения этой проблемы.

## 12

Мы оставим в стороне ряд других важных проблем и разделов этнографической науки, по которым русские и советские ученые делали и делают существенные вклады в сокровищницу мировой науки. Некоторые из этих проблем нуждаются в особом рассмотрении. Таково, например, изучение материальной культуры, выработка методики изучения народных построек, одежды, где работы советских ученых, таких, как Б. А. Куфтин, Н. И. Лебедева, Д. К. Зеленин и др., составили целую новую эпоху и где зарубежная этнографическая наука в большинстве случаев безнадежно отстает. Такова — в еще большей мере — разработка проблем этногенеза, область, которая в результате новейших работ советских исследователей стоит накануне превращения в самостоятельную и обширную отрасль знания, в особую дисциплину «этногенетику», где перекрещиваются друг друга дополняющие исследования историков, антропологов, лингвистов, археологов и этнографов. В настоящей статье и не ставилась задача исчерпать все эти важные проблемы. Автор ее хотел лишь напомнить о роли и участии русской этнографии в развитии мировой науки, указать на ту несправедливость, которую терпит наша наука от недооценки ее заслуг, и на тот вред для мировой науки, который не раз возникал из-за игнорирования русских работ зарубежными учеными.

Советская этнографическая наука выступает наследницей лучших традиций более чем двухвековой истории русской этнографии. Однако она не только продолжает эти традиции. Необычайно расширив рамки своих исследований, вооружившись самым передовым научным методом марксизма-ленинизма, советская этнография стоит на гораздо более высоком уровне, чем ее дореволюционная предшественница. Она далеко опередила и зарубежную науку, — как по широте масштаба проводимой работы, так и по теоретическому уровню исследований.

<sup>33</sup> См., например, К вопросу о классификации магических обрядов. Доклад Академии Наук, В, № 10, 1928; Составы и трансформации свадебных обрядов «Сборник МАЭ», VIII, 1929; Классификация и трансформации свадебных обрядов, Изв. Об-ва арх. ист. и этногр. при Каз. ун-те, т. 34, в. 3—4, 1929.